

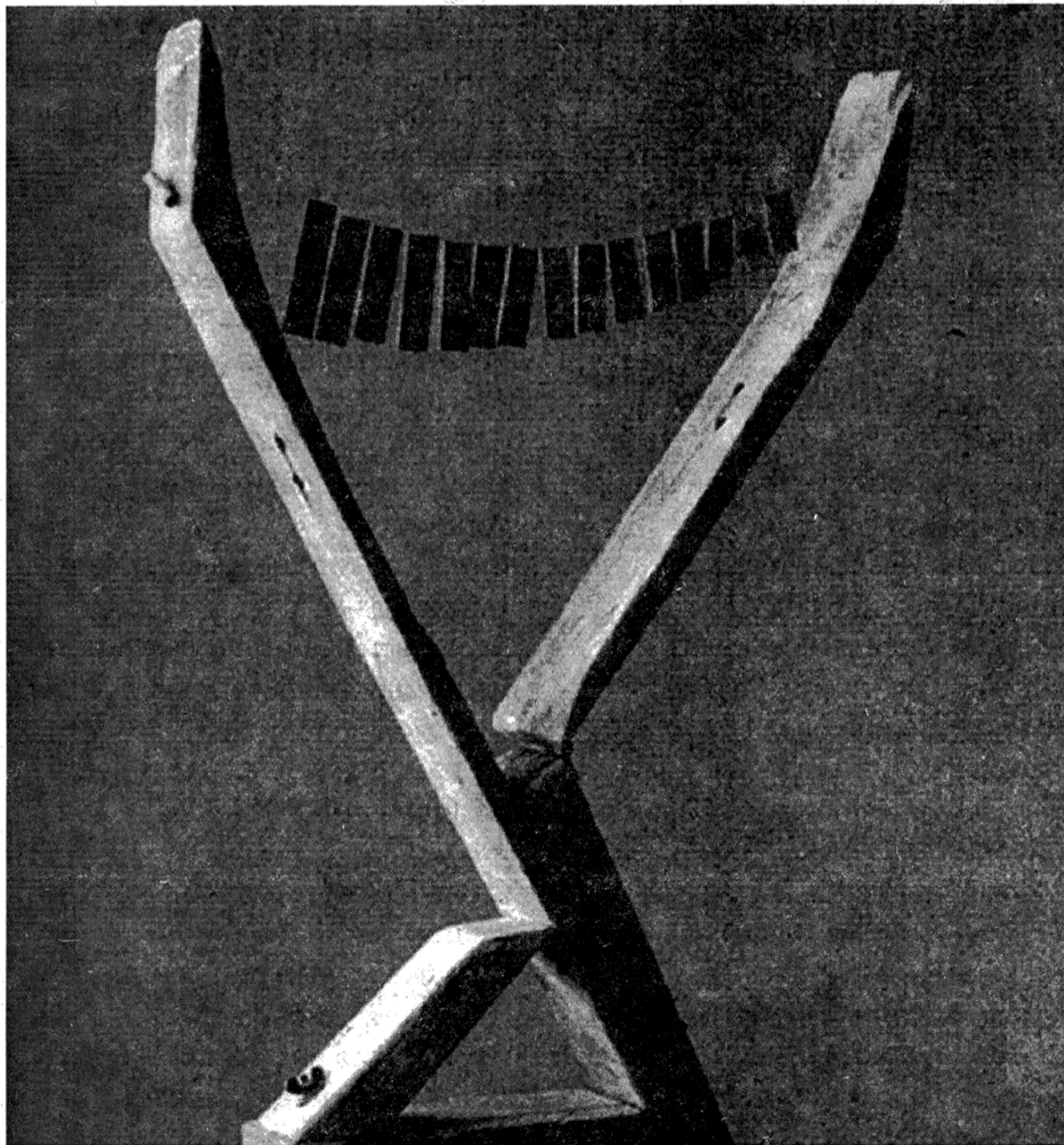


СЕРГЕЙ ЛЕЙБГРАД В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО НАКАЗАНИЯ

Ну зачем, зачем тебе все это? Ты ведь совершенно, абсолютно другой...
Совершенно? Абсолютно? Другой?...
Нет, нет не абсолютно, но... ты ведь сам знаешь и чувствуешь, понимаешь, замечаешь, осознаешь, что для тебя это некий фрагмент, жест, рефлексивная извинительность, некое нервное скольжение по кривой, этакое разоблачение скорее себя, чем мира, скорее собственного лексического самочувствия, чем языка как такового, как этакое...
Да, да. Нет почти ничего, кроме осуществления в слове, в словах, в синтаксисе, в интонации, существования в них, узнавания, а более неузнавания - продолжения и подтверждения. Тем более...
Я ловлю себя на том, что из всего написанного на русском языке в первой половине XX века я могу с интересом и удовольствием читать только обернутов. Я с большим скепсисом отношусь к статьям и отдельным рассуждениям о невероятной метафизике и экзистенциальной глубине Хармса и Введенского. Как раз отсутствие линейной наполненности чужеродным грузом, предельная облегченность высказывания и сделала тексты косноязычных фокусников устойчивыми и недемагогическими. Речевая аскеза, амнезия и свобода от мясистой плоти и душной терпкой лирической влаги спасли Хармса и некоторые вещи обернутовского Заболоцкого от разложения и фальши...
Я боюсь лишней раз дотронуться до столь необходимого мне в юности Александра Блока. Право на отчаяние и гибельное страстное отношение к слову и к жизни оборачивается свиданием с алядостоевским персонажем. Истерики, не понимающим собственную комичности и неестественности...
У Белого и Анненского только речевая инерция, проговаривания, уступки бытовой интонации - довольно, к сожалению, редкие - не вызывают невольного отторжения и брезгливости. Да не к ним, конечно, не к ним. К самому себе. К пестуемой и расцветшей в сознании энергии преображенной, якобы преображенной исповедальности. Экзистенциальной уникальности. Разоблачению во имя продления прородийного существования...
Жить невозможно. Только так и можно жить.

Внутри столько бездн, столько жестокости, столько соблазнов предавать и испугать предательства. Всего можно лишиться, от всего можно отречься. И сознавая, что этого делать нельзя, садомазохистски расправляться с собой. Нет, действительно, нет никаких окончательных истин. Почти никаких. Впрочем, без почти...
Может, отсюда странное влечение вменяемых литераторов к маленькому и как будто случайному стихотворению Ходасевича. "Ища пенсне или ключи..."
Все возможно пережить. Остаться без всех и без всего. Так что же, лирическая, точная и точечная, поэзия исключительно о смерти? Заворачивание биографического обнажения, раздевания, социального, культурного, подсознательного в метатекстуальные наряды, как у Ахматовой и вообще у акмеистов, превращает человеческое в светское, бытийное в музейное, непосредственное в оперное...
Даже замечательного, удивительного, великого Мандельштама читать все трудней и трудней. Такая смесь гениальности, безумия (не сумасшествия, а без-умия, чистого, без ума, письма) и культурной поэзии; раздувающей грудную клетку до значительности, многозначительности, очень многомногозначительности... Как будто поэзия (искусство) на самом деле так отличается тебя от смертных. Как будто Провидению, господу Богу, Отечеству и человечеству это так важно. Потомкам каким-то... Миллиардам живых и несметному живому, умирающим каждую секунду, каждую минуту... это важно?... И нелепая торжественная произвольность, дантеобразная ассоциативность и упоение. Солист...
Я долго не принимал всерьез Рубинштейна и Пригова. Я легко мирился с Гандлевским и Цветковым, а позже с Аизенбергом. Биографическое и языковое рождало метафорическое оправдание присутствия здесь, в этой стране и в этом теле. Циничный постмодернизм Бродского, окрашенный в назидательную прозу цивилизации отзывался щемящей беспомощностью, сочувствием и отстранением от плоской патетики.
Я не принимал всерьез концептуалистов. Они были необходимы как внешние санитары. Они должны были приучить язык не зарываться, не прикидываться, не делать вид, что ничего не

происходит, что жизнь застряла в оркестровой яме или на ступенях Исаакя... Они должны были (и гениально с этим справились) расшатать словарь, отматерить в розовые уши безжизненных интеллигентов и алкоголических постесининствующих романтиков, алчущих правды-матки (неизвестно, чего больше - правды или...). Петухов и павлинов с "сильными деталями"...
"Экспериментаторы, озобоченные вопросом и сутью "как?", приучают сознание к иным неубитым способам и формам артикуляции. Потом приходят мандельштамы и бродские и неотразимо и органично соединяют "как" и "что"... Какая чепуха...
Я не принимал концептуалистов всерьез. Их и не надо примать всерьез. Они не существуют всерьез, они есть само существование. Потому-то я все чаще и чаще, после того как вся их актуальность, модность и ситуативность миновали, перечитываю и перечитываю их тексты. Защищенные от прямых обвинений, они свободны от самоутверждения (тексты - не авторы). Создавая, воссоздавая идиотическое, нормальное, доминирующее пространство речи, не брезгуя объективным составом языкового воздуха, они восстанавливают место и координаты и моей жизни, и моей. Это-то есть "новая искренность". Слушая - не пародировать, а слышать и верить на слово. Попробовать поверить деформированному социальному или культурному языку (а может, и недеформированному, а лишь измененному, мутирующему, просто таковому), не пародировать, не устраниваться в оценщика, а раствориться и кристаллизироваться в нем. Сие опасно. Можно на всю жизнь застрять в моментально застывающем асфальте и железобетоне. На всю жизнь и застряли...
Но если у концептуалистов безвкусица есть природная, социальная данность, даже честность, то чем это свойство становится у тех же Гандлевского и Аизенберга? Называю их, потому что ценю их больше других, реальнее других, отчаянее других (да простят меня метаметафористы и седаковы, но мне тяжело читать отсутствующую, "переводную" литературу). Что же и эти сочинители, игнорирующие значение Бродского, так или иначе повторяют его "Представление"?
Уязвленные постмодернизмом, потрясенные концептуализмом, лучшие лирики прячутся в замалчивание или в рыгающий, пьяно-симпатичный сентиментализм.
Избавляясь от универсальной защиты Пригова и Рубинштейна, переводя их тексты в наивное сценическое состояние я приставляю к ним по одному стихотворению Аизенберга и Гандлевского. Одни без других похожи на раковые клетки, поедающие сами себя. Конечно, я пишу о собственном восприятии и ни о чем другом. Ни о чем другом...
Концептуалисты прекрасно поддаются консервации. Они, как бы не смешно это ни звучало, сильнее временного времени. С ними, как с Кэрролом, Козьмой Прутковым и обернутами, можно уходить в тайгу и горы. Они не испортятся. Их тексты можно брать в космос. И выдавливая из тубика калорийный белковый продукт, жить до глубокой старости...
А вот юные Воденников, Ризденко, Звягинцев. Талантливо добавляющие к чистой, прозрачной и очень обаятельной капитуляции Гандлевского и Аизенберга детскую изощренность и нежную манерность. Стилизация ой как да хороша... Помню, помню Арсения Тарковского, Семена Липкина, Тарловского и Шенгели, младших оранжерейных рыцарей акмеизма...
Не хочу отказываться от тотального кретинизма общего языка. Это мой кретинизм, моя родина, мой песок, написанный на мое рожденное в утробных водах тело и обозначающий природные границы моего действительного объема.
Но я не хочу отказываться и от своей дистрофической интеллигентности, глупейшей совестливости и индивидуальной подлости. А хоть бы и предельно серьезной беспомощности и бескрайней, невыносимой иронии...
Ничего хуже раскаленного до неменяемости символизма в русской словесности не было. Биометафорическое письмо, вероятно, ничуть не лучше. Но оно, по гадкому слову Ницше, позволяет стать тем, кто ты есть. Спасет ли сие от уже спасшего нас постмодернизма (концептуализма и неосентиментализма), гигиенично и очень корректно умертвившего автора ("смерть автора", "смерть читателя", "явление стиха после его смерти" стали условиями, а не условностью ситуации предписания)? Вряд ли. Но думать о собственном здоровье все-таки стыдно. Быть инструментом языка прекрасно. Но быть языком или хотя бы устами благодарнее. Есть шанс на возможность диалога. На ответ. И, главное, на наказание...



Симона Сохранская. Поющая птица. 1981. Дерево, металл. 80x54x8.